

ТОСЯ

Документальная повесть

На Украину

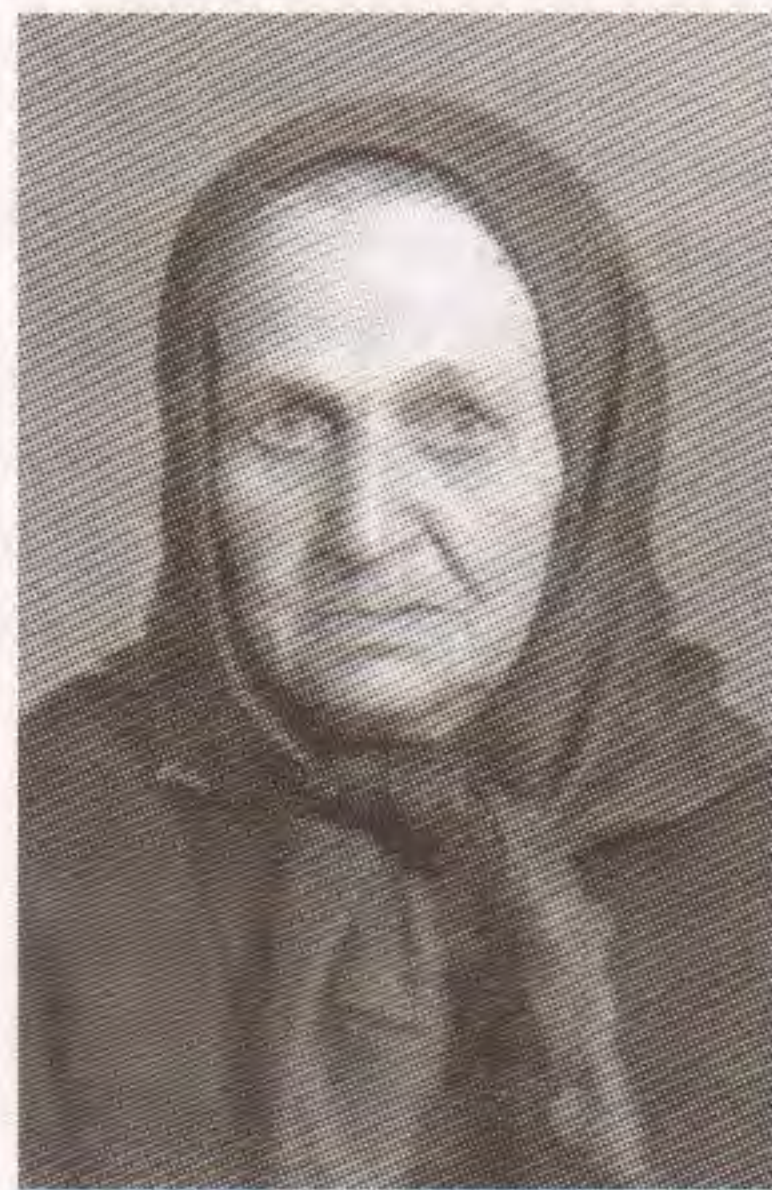
До отхода скорого поезда Москва – Адлер оставалось три минуты. Мы еле-еле успели забраться в вагон, разложить по полкам свои вещи и облегчённо вздохнули, когда вагон дрогнул и поезд медленно стал отходить от вокзала.

Мои попутчицы уже сидели, а я всё ещё приглядывал место, куда бы пристроить большой металлический венок. Наконец я приладил его на самую верхнюю полку, на всякий случай привязав бечёвкой и придавив углом чемодана.

Валя и Надя уложили Прасковью Николаевну, которая так за день намучилась от жары, что уснула, как только легла.

Теперь, я думаю, можно и *Тося Потапова*

познакомиться. Валя и Надя – это работницы Ульяновского автозавода. Ехали они в Сочи, к Чёрному морю – провести свой отпуск. Познакомились мы с ними ещё в Ульяновске и чрезвычайно обрадовались таким жизнерадостным попутчицам, когда они вошли к нам в купе. На их вопрос я полушёпотом рассказал, что мы из Мелекесса, едем в Харьковскую область, где фашисты в годы войны замучили нашу землячку Тосю Потапову. Прасковья Николаевна – это мать Тоси, я – работник газеты. А едем мы в село Ново-Ивановку на празднование Дня Победы. Всё это заинтересовало наших знакомых, и они внимательно слушали, что я рассказывал.



*П.Н. Потапова,
мать Тоси*

Известно, дорога сближает быстро, и пока ехали до Москвы, мы так породнились друг с другом, что буквально скучали, если кто-либо отлучался.

Девушки трогательно заботились о Прасковье Николаевне, а когда она засыпала, опять обращались ко мне, чтобы узнать ещё какие-либо подробности о Тосе.

В Москву приехали утром, оформили билеты и до вечера (поезд отходил поздно вечером) у нас оставалось свободное время.

Правда, Прасковья Николаевна очень просила заглянуть в гости к родной сестре – Марии Николаевне Пискаловой. И вот мы всем квартетом садимся в такси и едем к ней на Колпачный переулок.

С именем Марии Николаевны Пискаловой, а



также её мужа – Якова Егоровича Пискалова мы, мелекесцы, достаточно хорошо знакомы. Лучшие их годы связаны с нашим городом, с их активной борьбой за новую жизнь. Об этом газеты рассказывали читателям не однажды, помещали их снимки. А сейчас я своими глазами увижу Марию Николаевну, о которой у меня давно сложилось очень высокое мнение

Мария Николаевна, оказывается, уже знала о нашем приезде, хотя я ничего не сообщал ей ни письмом, ни телеграммой. Она встретила нас как самых дорогих гостей и пригласила в зал, где уже был накрыт стол.

– А мы вас ждали ещё вчера. Получили от Яши Рогачёва письмо и ждём: вот-вот зазвонит звонок!

Мария Николаевна живо интересуется нашим городом, товарищами, краеведческим музеем, которому передала ряд экспонатов.

– А как здоровье Николая Ивановича?

Я догадался, что речь идёт о Николае Ивановиче Маркове – директоре краеведческого музея. Этот заботливый и беспокойный человек у многих мелекесцев вызывает чувство глубокого уважения. Он по крупицам собирал историю, вёл обширную переписку, а когда я поехал на Украину, то очень просил привезти для музея какую-нибудь вещь...

Потчужа гостей, Мария Николаевна рассказывает о работе в мелекесском женотделе, о жизни с Яковом Егоровичем в Италии, об интересных встречах с видными деятелями страны.

Надо отметить, что рассказывать Мария Николаевна большая мастерица. Несмотря на солидный возраст, она помнила многие подробности, детали, мелочи и рассказывала так эмоционально, словно читала бесконечную книгу памяти...

На прощание Мария Николаевна подарила мне несколько фотографий Тоси, которые мчались сейчас с нами на Украину, в далёкое и незнакомое селенье.

Новый знакомый

Часа через два пути нами заинтересовался один молодой человек. Лежал он на средней боковой полке и, когда мы опять заговорили о Тосе, паренёк сперва задал вопрос, а потом подсел к нам и равноправно вступил в разговор.

Василий – так звали нового знакомого – был родом из Павлограда, и по первым же его словам было нетрудно догадаться, что это чистокровный украинец.

– Вы извините (он посмотрел на меня). Вот я

слышу: Тося, Тося. А що Тося? Немцы убили? А разве мало они поубивали?

– Что ты хочешь этим сказать?

– Та про вас, газетчиков. Больно уж много вы любой раз подымаете шума по всякому поводу.

– Бывает, – отшутился я.

– Та що бывает! Вот.

Он взял с полки номер газеты и ткнул пальцем в заголовки. Затем бросил газету и шутливо начал цитировать газетную информацию...

Надо сказать, что Василий обладал чувством юмора, неплохо знал редакционные огрехи, и импровизация его была остроумной и прямо уничижающей.

– Та вы петухи, – не унимался Василий. – Петух найдет крошку и ну балясничать, всех кур созывать. Сбегутся куры, а петушиного шума – только на один раз клюнуть...

Признаться откровенно, мне нравилась запальчивость Василия, его хорошее знание редакционной кухни, его стремление говорить о вещах просто, а не кричать, воздействовать словом на чувства, а не на барабанные перепонки.

В купе вошла проводница с дымящимся чаем на подносе. Сквозь тонкие стаканы он отсвечивал золотым отливом, и мы не удержались от желания взять по стакану этого ароматного напитка.

– А що ты скажешь о кампанейщине? – опять начал Василий.

– Какой?

– Ну вот хотя бы о той, що тебя заставила ехать на Украину. Столько лет газета молчала, а сейчас следы ищет!

Замечание Василия было вполне уместным. Действительно, как часто мы ищем следы, когда от них и следов не осталось. Ну вот чѐм располагаю я? Чѐто знаю о гибели Тоси? У меня копия письма офицера Вегери и опять-таки двадцатилетней давности.

В вагоне становилось тише и тише. Кто спал, кто положил голову на столик и дремал сидя...

Мне не спалось, хоть я с головой и укрылся одеялом.

Из соседнего купе доносился чѐткий стук часов. Видимо, кто-то ехал с будильником. И в эти минуты купе показалось мне комнатой Прасковьи Николаевны. Такой же узенькой комнаткой, тихой и одинокой.

Тик-так

«Тик-так, тик-так», – выстукивают старенькие ходики.

«Так-так, так-так», – монотонно повторяют они безостановочное слово.

А что значит «так»?

Почему именно так?

А если в душе такая трещина, что ничем не заклеишь и не склеишь?

А если в сердце кошки скребут и душа сорвана с петель, тогда что?

Тоже «так»?

Пусть всё так и останется?

А почему?..

Нет ответа. Некому ответить.

Спросить бы – и опять не у кого.

Рядом с часами – большая фотография девушки.

Может, она скажет?

Нет, не рассказывает. Молчит и хоть бы одним словом обмолвилась. Хоть единым.

Правда, кое-что и без слов понятно. Кое-что в словах и не нуждается.

Молода девушка? Молода.

Красива? Красива.

Молодость – она всегда прекрасна.

А глаза! Большие, умные.

И ещё одна деталь – родинка. Не родинка, а, может, смородинка. Ела девушка ягоды, и, наверное, одна ягодка прилипла к подбородку. Да так и осталась. Видите, какая она крупная? Это вам не мушка, какую выжигают модницы для красоты. Выжгут пятно да ещё карандашом подрисуют. И брови подмалют. Как вороньи крылья. Нет бровей, так их тушью обозначат. На коже. И умирают глаза, прямо хоть траур объявляй. Да они и есть в траурном обрамлении. Как объявление в газете. Ох уж эта акварельная красота! У кого только она не вызывает улыбку.

А та, что на фотокарточке, – нет. Эта, видать, россиянка довоенная. Естественная, как жизнь, неподдельная, как природа.

«Тик-так, так-так», – подтверждают ходики. И совершенно верно. В этом-то случае с ними можно согласиться целиком и полностью.

В маленькой комнате, где вот уже полвека прописаны эти часы, одиноко, тоскливо, грустно. Редко здесь раздаются людские голоса. Очень редко. Да и с кем разговаривать-то? Прасковья Николаевна – хозяйка комнаты – стара. Вдвое, поди, старше ходиков. Она на пенсии. На заслуженном отдыхе.

А часы всё тикают.

Всё ещё такают.

Всё отсчитывают время. Скрупулезно отсчитывают. По совести.

По возрасту и им пора бы на покой. На пенсию. Чтобы не думать ни о часах, ни о минутах. Вот как Васька. Пришёл с улицы – и на бок.

Васька – это серый, словно поседевший, кот. Лет десять назад Прасковья Николаевна принесла его в дом, и был он тогда всего-навсего с детскую рукавичку. А сейчас поди ты какой. Как поросёнок. И хотя возраст, скажем прямо, для кота критический, Васька, видимо, всё-таки на отдых не собирается. Ходит он легко, юрко лазит по деревьям, гоняясь за птичками, а весной убегает из дома и не появляется по несколько недель.

И в комнате становится ещё тише, ещё скучнее, а Прасковья Николаевна – ещё задумчивей. В такие минуты она обычно усаживается на сундук и о чём-то думает, думает. Взглянет на портрет девушки и прошепчет: «Ах, Тося, Тося... Ах, родинка ты моя!»

И прослезится. И всхлипнет. И заплачет беззвучно, вздрагивая всем телом. Так плакать умеют только матери, которым после слёз, как после сильного припадка, становится несколько спокойней и легче.

А часы своё: «тик-так».

Только ходики эти знали, сколько горьких минут отсчитали они для Прасковьи Николаевны. Минуты давно уже превратились в часы, часы – в сутки, а сутки – в годы. Годы эти согнули её плечи, притупили память, состарили лицо и руки.

И только горе, большое материнское горе не

старилось и не седело. Оно гнезилось глубоко под сердцем, как осколок, и временами ходило по всему телу, находя самое уязвимое место.

«Тик-так, так-так...»

Погодите часы, погодите.

Ну зачем вы лицемерите? Зачем? Ведь всё не так, не так, не так!

И часы словно послушались. Гирька дотянулась до самого пола, и они встали. Встали и как будто задумались: «Кого мы обманываем? Прасковью Николаевну? Не ведь это не только нелепо, но и глупо.

Спросить у неё?

Да разве расскажет?

Вон в прихожей слышались чьи-то шаги. Не она ли? Так и есть – она...»

Звякнув ключом, дверь распахнула маленькая, сухонькая, лет восьмидесяти старушка. Она с ходу тяжело опустилась на кровать и только тут почувствовала, что часы остановились. Прасковья Николаевна взглянула на циферблат – стрелки показывали с утра половину одиннадцатого. Она включила репродуктор, а у часов не захотела поднять даже гирьки.

Впрочем, часы на это не обижались. Они знали давно, что Прасковья Николаевна к часам не проявляла интереса. А с тех пор, как отзвучали сводки Информбюро, мало прислушивалась она и к радиопередачам.

Но на этот раз Прасковья Николаевна даже сама не заметила, как поддавалась влиянию чёткого мужского голоса, который доносился из репродуктора: «...близится великая дата истории – День Победы над фашистской Германией...»

Прасковья Николаевна не знала, что у микрофона выступал известный писатель Сергей Смирнов, который трудом своим совершал ежедневный гражданский подвиг. Он разыскал десятки героев войны, чья слава была предана забвению, а имена – наветам и подозрению.

А из репродуктора в само сердце, в самую материнскую боль влетали светлые проникновенные слова: «В истории Отечественной войны до сих пор много неизученных белых пятен, нераскрытых подвигов, неведомых героев, которые ждут своих разведчиков, и здесь может кое-что сделать даже один писатель, журналист, историк...».

Прасковья Николаевна повернула головку регулятора до отказа.

А голос лез в душу, звал комсомольцев и пионеров вести поиски героев войны, идти по следам, чтобы не осталось на нашей земле ни безымянных могил, ни неизвестных богатырей.

– Эх, сыно-ок, – недоверчиво прошептала Прасковья Николаевна, – легко сказать – найти. А попробуй, найди. Столько лет прошло...

Она посмотрела на фотографию дочери и всхлипнула.

– А тебя где искать, родинка моя, у кого спрашивать?..

Правда, на дне сундука лежало у Прасковьи Николаевны одно письмо. Ох оно, это страшное письмо! Она и верила в него, и не верила. Наверно, потому, что сердцу не хотелось поверить в эту жуткую трагедию. И сердце оставило в себе уголок для маленького кусочка надежды. И живёт эта надежда, те-

плится два десятилетия. И ровно столько же роковое письмо лежит на донышке сундука. Лежит, молчаливо храня свою тайну.

Кому надо?

Кому больно?

Когда-то Прасковья Николаевна показала это письмо своему начальнику. И была не рада. Начальник выпалил целую обойму вопросов и по всему было видно, что он не верит ни одному слову.

Ах, как Прасковье Николаевне и самой не хотелось бы верить в подлинность этого письма! И первое время она действительно не верила. Не верила потому, что человек, из чьих рук получила известие, вызывал неприятные воспоминания, опять всплывшие из тайника памяти.

Страничка памяти

«От советского Информбюро...»

Каждое утро для Прасковьи Николаевны начиналось этими словами. Да и только ли для неё? Весь город в эти минуты замирал, слушая сводки с фронтов. А не погна ли немца?

Но сводки были неутешительны.

Армия наша отступала.

В город ежедневно прибывали раненые и эвакуированные. Не было, пожалуй, дома, в котором бы не разместили семьи беженцев, семьи эвакуированных.

Для Прасковьи Николаевны наступили самые трудные дни. Муж был на фронте. Тося училась в институте, а сын Борис – в школе. Все его игры в «немцев и красных» кончались полным разгромом фашистов.

А война только-только ещё начиналась...

* * *

Прасковья Николаевна возвращалась с рынка невесёлая. Какое уж тут веселье! Цены на базаре росли с каждым днём, и ей приходилось колдовать со своей маленькой зарплатой, талантливо рядиться за каждый рубль, чтобы прийти домой не с пустой кошёлкой.

Около дома стояла раскрасневшаяся от мороза Тося, а рядом с ней – высокий молодой человек. Одет он был щеголевато. «Видимо из приезжих», – отметила Прасковья Николаевна, а от лица его веяло завидной бодростью и здоровьем.

– Ой, мамочка, – обрадовалась Тося, увидев мать. Она была рада случаю, чтобы отвязаться от надоедливого ухажёра, который, как нарочно, попадался ей на каждом шагу.

– Что это за кавалер? – спросила Прасковья Николаевна, когда они вошли в комнату.

– Да ну его, – отмахнулась Тося, – проходу не даёт.

Однажды этот молодой человек появился в доме Прасковьи Николаевны. Одет он был нарядно, как жених, и от него сильно пахло одеколоном.

Тоси не было дома, она работала в Осоавиахиме. Готовила для фронта пополнение и втайне от матери готовилась сама.

– Вы ничего не знаете о дочери? – заговорщически спросил он.

Прасковья Николаевна вздрогнула. Хотя она и знала строгое поведение Тоси, но слова гостя

почему-то насторожили её и напугали.

– Ваша дочь, мамаша, умная, хорошая девушка. Но засела ей в голову блажь: на фронт, на фронт. Вскружила ей голову глупая романтика. Я не против патриотизма, нет. Но разговорите её, разговорите. Ну что вы будете делать одна? К тому же я люблю Тосю и хочу на ней жениться...

– Я думаю, молодой человек, о фронте мне Тося сама скажет. А вот о женитьбе не может быть и речи. Чем замуж идти, пусть уж лучше на фронт идёт.

Гость искусственно улыбнулся.

– Вот это сравнили!

– Да сейчас ли, молодой человек, об этом думать? Вскружишь девчонке голову, а завтра тебя в армию...

– У меня бронь...

– Это уж твоё дело – бронь. Только я прошу оставить нас в покое. Иначе буду жаловаться.

* * *

Тося вернулась домой в шинели, шапке-ушанке, и Прасковья Николаевна поняла всё. Она заплакала и долго не могла прийти в себя.

– Хватит, хватит, мама, – стараясь быть спокойной, говорила Тося. – От слёз толку мало. Давай-ка лучше всё приготовим...

– А тебя сватать приходили...

– Кто?

– Ну этот, бронированный-то...

– Да пошёл он к черту! Пристаёт то ко мне, то к Берке. Та тоже послала его куда следует. И она, мама, на фронт едет.

– Вместе с тобой?

– Нет. Их после нас отправят.

* * *

«Добрый день, мамочка и Бориска!

Вы уж простите меня, что не написала с дороги, потому письмо начала ещё в поезде.

Оскачаю по дому, очень переживаю за вас и прошу обо мне не беспокоиться.

А в Москве, мама, меня встретил и проводил Вова Егорович. Тётя Маруся не могла прийти, ей что-то нездоровилось. Очень осталась довольна дядей. Он одобрил мой поступок и прямо окрылил меня напутствием:

– Ты молодец, Тося, – сказал он. – Тяжело твоей маме, но сейчас всем тяжело, береги себя для себя, для мамы, для всех.

После слов дяди Яши я невольно вспомнила мелеховского «броненосца», который пытался удержать меня. Глупый! И всё-таки хитрый. Такой в добровольцы не запишется.

Сообщаю первое своё огорчение. Определили было меня в артдивизион, но потом вызвали в штаб и назначили секретарём военного трибунала. Даже как-то неловко сделалось. Ну ничего. Значит, так надо.

А вчера нам выдали личные знаки. На случай гибели. Ох и грустно стало. Но всё-таки хочется верить, что этот знак никогда не понадобится.

До свиданья, мамочка.

*Целую тебя и Бориску.
Тося».*

* * *

Январь 1944 года.

Прасковья Николаевна осунулась, похудела, выглядела очень слабой и болезненной.

Что с Тосей? Где она? Жива ли?

Жива, так откликнулась бы. Она всегда писала аккуратно.

Последнее письмо Прасковьи Николаевны получила от неё год назад. И всё оборвалось. Ни слуху, ни духу. Если погибла, так извещение пришло бы. Похоронка, как их звали в народе. Но ничего не было. Никаких известий.

И потянулись дни, полные надежд и ожиданий. Даже радио заговорило иным тоном. Наша армия наступала на всех фронтах, и это радовало.

Однажды в дом Прасковьи Николаевны пришёл работник Осоавиахима товарищ Кириллин, но хозяйки не оказалось дома.

– Передайте ей, чтобы она обязательно зашла ко мне, – попросил он соседей.

Ёкнуло сердце, когда Прасковье Николаевне передали это приглашение.

– Наверное, что-нибудь с Тосей случилось?

– Да, случилось, – подтвердили соседи. – Говорят, получено нехорошее письмо.

Не ошиблось сердце матери. Не обманулось.

Прасковья Николаевна не помнит, как пришла в кабинет Кириллина.

– Мамаша, давно Тося прислала последнее письмо?

– Да уж год почти, – еле слышно произнесла Прасковья Николаевна.

– Го-од! О, это многовато.

Кириллин замолчал и перекладывал с места на место какой-то листочек.

– Приятного, мамаша, мало. Война есть война, и без жертв она не бывает. Мы получили письмо от однополчанина Тоси, который сообщил, что в одном из боёв немцы окружили часть, где служила Тося, и взяли её в плен...

Из кабинета Прасковью Николаевну вынесли замертво.

И всё-таки Кириллин не всё сказал матери. Он передал ей только частицу письма старшего лейтенанта Вегери. Подробнее Прасковья Николаевна узнала позже от других горожан, когда и до них просочилась страшная весть. А пока в душе её поселилась смутная маленькая надежда: вдруг да ошибка?!

* * *

Шли дни. Письмо о гибели Тоси было подшито к делу. А о том, что с ней произошло, громко говорить не полагалось: как-никак человек попал в окружение и погиб в плену. Может быть, Тося и вела себя героически, но плен есть плен. Лучше смерть, чем плен, об этом говорили все уставы.

Но Прасковья Николаевна, разумеется, не знала об этих тонкостях. Кто-то ей посоветовал обратиться в военкомат за консультацией – не назначат ли за погибшую пособие?

Но в военкомате душу Прасковьи Николаевны ранили навывлет. Когда одному из работников она подала письмо о гибели Тоси, то, прочитав его, тот